

ДО ВЕСНЫ

Баба Оля умерла неожиданно. Всё бегала, суетилась, торговала на базарчике перед станцией поздними осенними яблоками, и вдруг как отрезало: слегла, проболела два дня и тихо скончалась во сне, ночью, под завывание октябрьского ветра и таинственный шорох дождя.

Похороны были простыми, немногочисленными, без отпевания, без гражданской панихиды. Погода опять не заладилась, поэтому на кладбище по лужам пришли только несколько соседок усопшей и представительница местного совета ветеранов. Их негромкие голоса тонули в промозгом воздухе, пропитанном изморосью и призрачно-бледным, прозрачным туманом. Чуть поодаль, в сторонке, среди старых, покосившихся надгробий, безучастно курили два могильщика-землекопа.

Во время короткого прощания никто не обронил ни слезинки. Даже пасмурное небо перестало плакать, прояснилось на мгновение и из-за туч показалось солнышко, видимо, тоже заглянувшее проститься, в последний раз осветить своими лучами сырую, потревоженную землю – последнее пристанище старушки, отвековавшей свой долгий век.

Организовывать поминки было некому, да и незачем. Каждый, кто знал усопшую, помянул её по-своему: кто воспоминанием, кто молитвой, кто – рюмочкой сорокоградусной. А неостановимое время продолжало течь своим чередом, неспешно, полусонно, как и всегда текло в провинциальном городке, затерянном среди бескрайних просторов Западной Сибири.

На следующее утро в маленькую квартирку бабы Оли проникли первые лучи тусклого осеннего рассвета. Неподвижный воздух комнат окрасился тяжёлой свинцовой синевой. Прервавшаяся жизнь хозяйки как будто ещё продолжалась здесь по инерции. Всё было готово к движению: оставленные мимоходом вещи, продукты, хранившиеся в холодильнике, загнутый кончик одеяла на незаправленной кровати, тёплые матерчатые тапочки, забытые в прихожей. Но ничто не двигалось, всё застыло, придавленное невидимым грузом ожидания: вот-вот легонько вздрогнут оконные стёкла, разбуженные энергичным ударом входной двери, и всё оживёт, зашевелится, закрутится в обычной кутерьме.

И дверь действительно отворилась, только не энергично, а чуть слышно. В прихожую робко, будто стесняясь, вошла ближайшая соседка бабы Оли Тамара Михайловна, старая учительница, маленькая, сухонькая, одетая в простое домашнее платье и самодельный ситце-

вый передник. Едва переступив порог, она немедленно принялась за работу: заправила постель, вымыла полы, отключила и разморозила холодильник. К полудню квартира сияла чистотой. Вещи были разложены по своим местам, окна и форточки тщательно закрыты на зиму, водопроводные краны накрепко завёрнуты, мешки с мусором вынесены на лестничную площадку.

По мере исчезновения беспорядка в квартире гасли последние проблески жизни. Прибранные комнаты всё более походили на музей. В конце концов, в них окончательно установилась долгая пауза, говорившая о том, что история одного человека закончилась, и следующее прикосновение к этим вещам будет началом другой повести с участием новых действующих лиц.

Тамара Михайловна ощутила эту перемену. Она присела на краешек кресла, стоявшего в углу комнаты, чтобы в последний раз окинуть мысленным взором прошлое, заглянуть за подведённую ею самую черту. Её задумчивый взгляд нечаянно упал на противоположную стену, где висела старинная фотография в деревянной рамочке, изображавшая совсем молодую бабу Олю и какого-то серьёзного молодого человека, одетого в габардиновый пиджак. Странное дело: она не раз бывала в этой комнате, часто сживала в этом самом кресле, но никогда не обращала внимания на фотографию, не замечала её, как всякую другую примелькавшуюся вещь. Теперь она увидела её как будто в первый раз и не могла оторваться от созерцания пожелтевшего снимка.

Есть что-то трогательное в старых фотографиях, что-то такое, что притягивает взгляд, заставляет всматриваться в лица, словно в выражениях этих лиц таится какая-то загадка, какая-то скрытая мысль, отделённая от нас многими десятилетиями.

Лицо молодого человека, изображённого на снимке, привлекло и почему-то взволновало Тамару Михайловну. Она вдруг с сожалением подумала, что, может быть, никогда не узнает его имени. За всё время долгого знакомства с бабой Олей ей ни разу не пришло в голову поинтересоваться её прошлым, и теперь это прошлое пропало, исчезло навсегда. Упущение, конечно же, не было умышленным: баба Оля жила просто и открыто, у всех на виду, и эта простота как нельзя лучше ограждала её от чужого любопытства.

Тамара Михайловна поднялась с кресла, сняла со стены разохшуюся рамочку со снимком, перевернула её, надеясь найти на обороте какую-нибудь надпись, но сзади не было ничего, кроме даты, тща-

тельно выведенной порыжевшей от времени тушью: «1939 год». Там, где висела фотография, на стене образовалось тёмное пятно невыгоревших обоев. Внизу, под пятном, на низеньком серванте, стояла деревянная шкатулка. Тамара Михайловна взяла её, села за стол и открыла крышку. Внутри она нашла совершенно жёлтый бумажный треугольник. На его лицевой стороне было крупно написано от руки: «Ольге Николаевне Ярцевой». Далее, помельче, следовал адрес и номер полевой почты для ответной корреспонденции. Судя по всему, это было письмо с фронта. Тамара Михайловна развернула его и начала читать:

«Милая моя Оленька! Прости, прости, что не писал тебе целый год! Ты наверно совсем извелась, думая обо мне: жив ли? Жив, жив, что мне сделается! Даже потолстел немного. Здесь, на фронте, пайки хорошие, хлебушка дают вволю, хотя тоже, конечно, случаются перебои – всё-таки война. А не писал я тебе вот по какой причине: чуть не в первый же день, как попал я на передовую, наша стрелковая рота оказалась в глубоком окружении. Пробриться назад, к своим, было невозможно, пришлось уйти в леса и воевать вместе с партизанами. Участвовал в боях, но, к счастью, штык меня не взял и пуля миновала. Жизнь в лесу было не ахти какое, питались чем придётся, ночевали в землянках, и не то, чтобы, к примеру, в самой глуши какой, а так, чуть вдаль от дорог. Немцы в лес не очень совались, оно им непривычно, а нашему брату-сибиряку – в самый раз. Леса здесь светлые, не чета нашенской тайге. Всё время вспоминал о тебе, особенно вечерами. Как же я по тебе соскучился! Представлю, бывало, тебя как раньше, ещё до войны, помнишь, когда мы ходили на танцы? – и сердце рвётся и радуется. Хорошо, когда есть по кому скучать. Без тебя я остался бы один на один с холодом, страхом, жестокостью, а тут мы с тобой как будто вдвоём, и сил от этого становится вдвое больше. Спасибо тебе за то, что ты у меня есть!

Я писал тебе письма, но отправить их было нельзя, и я носил их с собой, а потом – так уж случилось – потерял. Когда же вышли мы из окружения, началась такая неразбериха и круговерть, что и присесть, чтобы написать, было некогда. Зато теперь нас направили на переформирование. Готовимся к отправке на передовую, а тем временем отдыхаем, отъедаемся. Чувствую себя здесь как на курорте. Недавно в наше расположение приезжал театр, а на днях выступал лектор из Москвы, рассказывал нам о будущем. Говорил, между прочим, что мы теперь сражаемся не только за нашу страну, но и за весь мир, и

что это – самая последняя мировая война. Прогнившая колониальная система шатается и рушится на глазах. Старому обветшавшему мировому порядку приходит конец. Когда мы победим, а победим мы обязательно, он окончательно рухнет, и на его месте возникнет новый мир, в котором не будет больше войн. Не будет крошечных, наглых и жирных метрополий и огромных, нищих, хиреющих провинций. Не будет богатых и бедных, не будет зависти, жадности, стяжательства, злобы и вражды. И границ тоже не будет, потому что все будут жить одинаково хорошо. Не понадобятся больше бюрократы, да и деньги, глядишь, совсем отменят! Ох, и заживём мы с тобой тогда! Я пойду учиться – стране нужны будут инженеры чтобы строить заводы, фабрики, электростанции, а ты станешь, как и прежде, работать в детском саду, воспитывать новых людей. Представляешь, как будет здорово!

Хорошо мечтать, представлять себе будущее, а как глянешь вокруг, так думается, что в первую очередь должны измениться люди, а потом уж только изменятся государства и весь мир. Скажу тебе откровенно, что я и сам как-то быстро и незаметно очерствел, свыкся с ненавистью в самом себе. Теперь без неё нельзя, и я не могу перестать ненавидеть, попросту не имею права. Не могу, или не хочу – это другой вопрос. Трудно сказать, да и не всё ли равно? Ненавидеть легко, этому учиться не нужно, достаточно только дать себе волю. И всё же иной раз проникнет в сердце что-то такое, от чего становится не по себе, накатит жалость ко всему живому: к деревьям, к птицам к людям, и это при том, что я давно уже привык равнодушно смотреть на чужую смерть. А ведь что такое смерть, Оленька? В одно мгновение уничтожается целый мир, пропадают мысли, воспоминания, мечты, фантазии, вся боль, всё счастье, весь труд, положенный на создание человеческой личности. Всё кончается, бесповоротно.

Чем больше я думаю об этом, тем сильнее чувствую свою ответственность перед будущим. Я должен, просто обязан переделать себя, стать достойным того мира, который настанет после этой проклятой войны. Мне кажется, в душах многих людей сейчас происходит та же борьба. Что бы мы ни делали до войны, это уже не важно. После всего пережитого это не имеет никакого значения. Обратного пути нет, и уж если из этого пекла мы не выйдем очищенными, что же тогда нас очистит? Тут есть особенный смысл: чем ниже мы падаем, тем выше сможем подняться, когда-нибудь.

Ходят слухи, что вскоре нас перебросят на передовую, поэтому не знаю, когда напишу тебе ещё. А ты непременно пиши! Всё-всё пиши,

как вы там теперь живёте, о чём думаете, на что надеетесь. Я буду ждать!

Целую! Твой муж, Алексей Ярцев».

Тамара Михайловна отложила письмо и снова заглянула в шкатулку. В ней, на самом дне, лежала маленькая бумажка, совершенно обветшавшая, похожая на кусочек древнего папируса. Она осторожно извлекла её на свет, развернула и прочла, привычно щури дальновзоркие глаза:

«Извещение. Ваш муж, красноармеец Алексей Иванович Ярцев, в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив героизм и мужество, был убит 23 августа 1943 года. Похоронен в Белгородской области, Яковлевский район, село Дмитровка. Настоящее извещение является документом о возбуждении ходатайства о пенсии».

Больше в шкатулке ничего не было. Тамара Михайловна взяла фотографию и документы и вместе с ними вышла из комнаты бабы Оли.

Дома, в квартире напротив, её ждала шестилетняя внучка Катенька. С кухни доносилось шипение, слышался звон и грохот посуды.

– Мама, мама, бабушка вернулась! – закричала Катенька и бросилась навстречу Тамаре Михайловне. – Ой, бабушка, а что это у тебя за коробочка? – спросила она, заметив шкатулку.

– Это нужная коробочка, – ответила Тамара Михайловна, наклоняясь, чтобы погладить девочку по голове. – В ней письмо.

– Кому письмо?

– Тебе.

– Мне? – удивилась Катенька.

– Тебе, мне, всем нам.

– А что в нём написано?

– Вырастешь, узнаешь!

– Я хочу узнать сейчас!

– Всему своё время.

Катенька надула губы.

– Не дуйся! – сказала Тамара Михайловна. – Будущее от тебя не уйдёт. – Она убрала шкатулку и фотографию в шкаф. – Что, поможем маме с обедом?

– Поможем! – воскликнула Катенька, позабыв о письме, и помчалась на кухню.

На улице, в маленьком садике перед домом, осыпались последние листья. С севера по небу катились тёмные снежные тучи. В кухне у

Тамары Михайловны зажётся свет. Сидевшая на ветке озябшая ворона передёрнула крыльями, встрепенулась, каркнула и взлетела, поймала порыв северного ветра, поднялась выше, оставив далеко внизу обнажённую землю, готовую принять первый снег. Желтоватые огни городка померкли, утонули в наступающей мгле. Зима наступала и далеко, далеко ещё было до весны.

Октябрь 2016.